

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

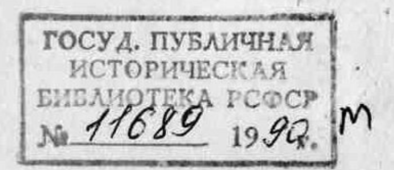


ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ

ЛЕНИЗДАТ·1990

Составители:
Л. И. ЗАХАРОВ, Э. А. УРУСОВА

Редактор Ю. В. АРТЕМЬЕВА



С $\frac{130500000000-224}{М171(03)-90}$ без объявл.
ISBN-5-289-00997-3

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ,
доктор исторических наук

ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ В РОССИИ И ЕГО РЕЦИДИВЫ ПРИ СТАЛИНИЗМЕ

(Размышления историка в связи с 75-летием выхода в свет статьи В. И. Ленина «О национальной гордости великороссов»)

Небольшая ленинская статья «О национальной гордости великороссов» появилась в декабре 1914 года — тогда, когда волна шовинизма захлестнула все страны — участницы начавшейся мировой войны и мало кто (как, например, Ромен Роллан, написавший в сентябре того же года знаменитую статью «Над схваткой») смог не поддаться всеобщему безумию. Статья Ленина представляет собой акт гражданского мужества, совершенный внутренне свободным человеком, посмевшим переступить через то, что составляло традиционные, освященные столетиями ценности. Целью статьи, продолжившей традиции русского свободомыслия, идущие от Чаадаева, Герцена, Чернышевского, было не желание эпатировать общество, а стремление сказать ему в лицо правду, выявить различия между истинной и ложной национальной гордостью русского народа, раскрыть применительно к ситуации в России знаменитую формулу Маркса и Энгельса: «Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы». Ленин стремится показать, что исполненный чувства национальной гордости за свою родину сознательный великорусский пролетарий хочет «во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегии».

К началу первой мировой войны Российская империя представляла собой конгломе-

[4] Центр, созданный ЦК РСДРП(б) утром 16 октября 1917 года, не обособлялся внутри Военно-революционного комитета Петроградского Совета. Каких-либо следов того, что он проводил свои собственные заседания, давал руководящие указания ВРК, пока не обнаружено. Члены центра продолжали работать на своих участках партийной работы. Только на утреннем заседании ЦК РСДРП(б) 24 октября 1917 года члены этого центра А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский получили конкретные поручения, связанные с подготовкой восстания. Согласно протоколу, И. В. Сталин на этом заседании не присутствовал. Л. Д. Троцкий, со своей стороны, принимал активное участие в организации и деятельности ВРК. По его предложению при утверждении положения о комитете на заседании исполкома Петроградского Совета 12 октября было выбрано само название для него — «Военно-революционный комитет». Сохранился ряд документов ВРК, на которых за председателя расписался Троцкий.

[5] Троцкий ошибается: «решающей» была ночь с 24 на 25 октября, когда войска ВРК захватили весь город, кроме небольшой части центра.

[6] Цитируемый Л. Д. Троцким протокол Петербургского комитета не опубликован.

[7] Троцкий не совсем прав. Доклад В. И. Ленина на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4 апреля 1917 года, откуда взяты эта и предыдущая цитаты, был впервые напечатан 7 ноября 1924 года в газете «Правда», № 255. См. также: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 31, с. 106, 112.

[8] Революционное движение в России после свержения самодержавия. М., 1957, с. 134.

[9] Вопросы истории КПСС, 1962, № 6, с. 139—140.

[10] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 31, с. 107.

Н. ВАЛЕНТИНОВ

РАЗГОВОР С ПЯТАКОВЫМ В ПАРИЖЕ

Полезность публикации сегодня очерка Н. Валентинова о партии, о сути большевизма несомненна. Когда мы вновь пытаемся понять причины наших поражений, мы обращаемся не только к истории партии, но и к тем дискуссиям, которые велись в ней на переломных этапах, когда определялось ее будущее, определялось прежде всего ее вождями, довольно часто без учета коренных интересов народа. Собственные тщеславные претензии застилали им глаза, они боролись за власть для себя и шли на любые компромиссы, порой и безнравственные...

ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович (1890—1937). Родился на Украине в семье директора сахарного завода. Дважды исключался из Киевского реального училища св. Екатерины: в 1905 г.— как руководитель «ученического восстания», в 1907 г.— за «дерзкий спор» со священником училища. Был активным членом анархистских кружков, входил в «автономную террористическую группу в целях убийства генерал-губернатора Сухомлинова». Будучи студентом Петербургского университета, изучал работы К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, классиков политэкономии и философии. В 1910 г. за участие в университетских беспорядках выслан в Киев, где сразу вошел в инициативную группу возрождения городской нелегальной социал-демократической организации. В 1912 г. арестован и осужден к ссылке на поселение. В октябре 1914 г. из Иркутской губернии через Японию бежит в Европу. Участник бернской конференции большевиков. Вместе с Е. Б. Бош и Н. И. Бухариным выступает против ленинской позиции по национальному вопросу; позднее признает свою неправоту. После Февральской революции — в Петрограде, затем в Киеве — председатель городского комитета РСДРП(б), член исполкома Совета рабочих депутатов. После победы Октября вызван в Петроград, где назначен главным комиссаром Гос-

банка. В 1918 г., как писал Пятаков в своей автобиографии в 20-х гг., на Украине в отряде Примакова «вел политработу, выпускал с Лебедевым газетку «К оружию!», чинил суд и расправу, ездил в разведку и был пулеметчиком». В годы гражданской войны — член РВС армии, комиссар дивизии, комиссар Академии Генерального штаба. В 1920 г., после овладения Крымом, один из руководителей («пятаковская тройка») массовых расстрелов белых офицеров, пришедших на объявленную регистрацию.

Находясь на хозяйственной работе, занимал посты заместителя Председателя ВСНХ, заместителя наркома тяжелой промышленности. В 1937 г. по делу о «параллельном антисоветском троцкистском центре» Военной коллегией Верховного суда СССР Пятаков был приговорен к расстрелу. За год до этого, согласно докладу Ежова Сталину, Пятаков просил предоставить ему «любую форму реабилитации» и, в частности, от себя внес предложение «разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену» (Известия ЦК КПСС, 1989, № 9).

Реабилитирован в июне 1988 г.: Пленум Верховного суда СССР отменил приговор, установив, что обвинения были необоснованными и материалы дела сфабрикованы.

На следующих ниже страницах приводится речь Пятакова. Буквально с ужасом мне довелось ее слышать в Париже в марте 1928 г., т. е. в год входа в «сталинскую эпоху». В этой речи обнажена вся глубинная суть сталинизированного коммунизма — партии «чудес», не связанной никакими законами, делающей «возможным невозможное». Невольно просится параллель: мерзкое, трусливое, лживое, маленькое существо, изображенное Достоевским в «Записках из подполья», все-таки не хотело быть только «фортепианной клавишей или органным штифтиком», а хотело сохранить «самое главное и самое дорогое, нашу личность и нашу индивидуальность». А вот Пятаков, настоящий революционер, очень даровитый, с громадной волей, человек, явно выделяющийся из общего ранга,— стал доказывать, что, будучи настоящим большевиком-коммунистом, не только психологически можно, а и должно превратиться в клавишу и органный штифтик. Для характеристики этой психологии, этого течения мысли слышанное от Пятакова представляется мне настолько важным, что я не хотел бы ограничиваться тем, что сделал до сих пор: словесной передачей его речи и записью ее для архива Колумбийского университета. Нужно подробно изложить ее в печати, но предварительно, хотя бы кратко, объяснить, в какой обстановке Пятаков изложил ошеломляющую меня «философию».

В 1922—1928 гг., имея над собою в роли «комиссара» — М. А. Савельева, я был фактическим редактором «Торгово-промышленной газеты», органа Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). В это время Председателем ВСНХ был сначала Рыков, потом Дзержинский, а после его смерти в 1926 г.— Куйбышев. С ними со всеми, так же как и с их заместителями, мне пришлось иметь дело. Одним из заместителей Председателя ВСНХ был Ю. Л. Пятаков. В своем «завещании» Ленин указывает только на шесть лиц, и среди них Пятаков. Ленин пишет, что он «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». Управлению и развитию индустрии Пятаков отдавался со всей присущей ему страстью и превосходно знал состояние, успехи и недостатки всех промышленных отраслей. Мы, «беспартийные спецы», ценили его талантливость, огромную работоспособность, уважали его, но нельзя сказать, чтобы «любили», именно потому, что он был слишком властен и как администратор груб. Главное же, что нас отталкивало, это его политическая позиция. Вместе с Троцким и Преображенским он был виднейшим представителем левой коммунистической оппозиции, считал введение НЭПа крупнейшей ошибкой, стремился возможно скорее задавить частный торговый капитал и с помощью налогового и всякого другого нажима на крестьянство получить средства для максимального развертывания индустрии. Он полностью разделял взгляды Преображенского, творца в 1923 г. знаменитого «закона первоначального социалистического накопления», по которому социализм (как первоначальный капитализм) должен строиться на базе «эксплуатации досоциалистических форм хозяйства», ресурсов крестьянства и городского мелкобуржуазного хозяйства. Ни правые коммунисты, а среди них самым правым был Дзержинский, ни беспартийные спецы, конечно, не разделяли пятаковских воззрений. Мне они были абсолютно чужды, и я не скрывал, что считал их вреднейшими, ведущими к возврату убивающего страну «военного коммунизма». Это было известно Пятакову, раздражало его, вызывало со мною стычки, и, не будь у меня защиты и опо-

ры в лице Рыкова и Дзержинского, Пятаков, несомненно, изгнал бы меня из редакции «Торгово-промышленной газеты». Но с конца 1925 г. отношение ко мне Пятакова резко изменилось, стало почти дружеским. После одной моей статьи в «Торгово-промышленной газете» он, вопреки тому, что думал, узнал, что я почитатель и сторонник руководимого Пятаковым «Освока» — Особого Совещания по воспроизводству основного капитала промышленности, секции которого делали весьма увлекавшие меня первые пробы, первые наброски пятилетних планов развития промышленности. Вместе с тем он узнал, что в некотором замалчивании в газете ВСНХ работы Пятакова не я повинен. До этого, встречаясь со мною в ВСНХ, Пятаков демонстративно от меня отвертывался, теперь стал «благоволить», приглашать к себе в кабинет («пойдемте поболтать»), вести со мною разговоры и споры о принципах построения хозяйственных планов, о накоплении и потреблении в общественном хозяйстве, о законах накопления во 2-м и 3-м томах «Капитала» Маркса, о НЭПе, о последних статьях Ленина и пр. В конце 1927 г. вся левая оппозиция, в том числе и Пятаков, была изгнана из партии, и Политбюро, не желая, чтобы он оставался в Москве, назначило его на пост председателя Амторга (Торгового представительства СССР) в Нью-Йорке. Пятаков, которому при этом назначении было предоставлено право пригласить нескольких нужных ему лиц, предложил мне ехать с ним на службу в Америку. Это было дополнительным свидетельством явного изменения его ко мне отношения, но, вызывая его неудовольствие, я от предложения все-таки отказался, мотивируя отказ тем, что плохо знаю английский язык. Но и Пятаков в Америку не попал, так как Вашингтон в визе ему, как «левому коммунисту», отказал. Тогда Политбюро, по-прежнему желая удалить Пятакова из Москвы, назначило его председателем Торгового представительства СССР в Париже, и в 1928 г. он, с великим отвращением, почему-то ненавидя и презирая Францию, туда отправился.

Изгнание в декабре 1927 г. из партии левой оппозиции скоро вызвало в ее рядах покаянное настроение, обращение к ЦК и ЦКК с просьбами о возвращении в партию. Галерею каявшихся открыли Зиновьев и Каменев в письме, помещенном 27 января 1928 г. в «Правде», а через месяц после них в той же «Правде» (№ от 29 февраля) с покаянием выступил и Пятаков. Его статья (копия бумаги, отправленной в ЦКК) безобразно написана, хаотична, и никакой искренности я в ней не увидел. Она была в духе и стиле многократных заявлений оппозиции, говорила об отказе от «фракционной деятельности», но всем было известно, что это обещание оппозиция немедленно нарушала. Сомневаться в искренности заявления Пятакова я имел тем более оснований, что несколько раз видел, до какой степени то, что я слышал от него, расходилось с тем, что он провозглашал официально, чтобы не входить в острый конфликт с Дзержинским. Не я один, а многие совершенно не верили, чтобы этот ультраволевой человек так быстро и легко сдался пред Политбюро. Говорили, что покаянную статью свою Пятаков написал в пьяном состоянии и что у него была одна только цель — любой ценой добиться возвращения «из ссылки», из Парижа в Москву.

В то время, когда появилась в «Правде» статья Пятакова, я был в Германии, куда был послан лечиться от всяких болезней, нажитых в течение лет крайне тяжелой работы в ВСНХ. Лечение в санатории Либенштейн в Тюрингии меня несколько поставило на ноги, и я решил воспользоваться пребыванием за границей, чтобы повидать давно жившую в Париже мою сестру. Она выхлопотала у префектуры визу, разрешавшую мне пробыть в Париже семь дней, и так, в конце марта 1928 г., я и попал в него. Я не преминул посетить Пятакова — торгпредство тогда помещалось в доме № 25 на rue de la Ville-l'Evêque. Секретарь Пятакова Москалев (погибший вместе с ним в 1937 г.), с которым мне часто приходилось видеться в ВСНХ, встретил меня с распростертыми объятиями как «человека оттуда»: как и Пятаков, но по другим мотивам, от жаждал возвратиться в Москву. О моем приходе Москалев немедленно доложил Пятакову. Тот с не свойственной ему любезностью принял меня, начал расспрашивать, как и почему я попал за границу, и, узнав, что я приехал в Германию, в частности, и для того, чтобы лечиться от тяжелого переутомления, предложил мне служить в торгпредстве, заведовать экономической информацией и редактировать орган торгпредства «La Vie Economique des Soviets». «У вас будут помощники, работой переобременены не будете. Это не «Торгово-промышленная газета» — сидеть на вашей шее не буду.

Значит, у вас есть возможность здесь еще более поправиться и укрепить силы».

Неожиданное предложение Пятакова очень отвечало возникшему у меня еще в Германии желанию некоторое время пожить за границей (стать эмигрантом тогда и мысли не было), но я хотел предварительно узнать, как и при каких условиях ведется предлагаемая мне работа, и уже тогда решить, подходит ли она мне. Ознакомившись со всем этим делом (в сравнении с адской работой в «Торгово-промышленной газете», оно показалось мне пустяком), я на следующий день пришел к Пятакову сообщить, что предложение его принимаю. Он, видимо, остался этим доволен, сказав, что будет просить об освобождении меня от службы в ВСНХ и даст приказ, чтобы начали хлопоты о получении визы для моего въезда во Францию на постоянную работу. Когда разговор о моей будущей работе окончился и темою стал поносимый Пятаковым Париж, он вдруг, без всякой связи с тем, что говорилось, спросил, читал ли я его заявление в Центральную Контрольную Комиссию о возвращении в партию и что по этому поводу скажу.

Говорить с ним на эту тему, сказать прямо в глаза то плохое, что я о его заявлении думал,— мне не хотелось, тем более что только что получил от него весьма и весьма меня устраивающее предложение перейти на службу в торгпредство в Париже. Я ответил, что заявление читал, судить же о нем не могу, это дело чисто внутрипартийное, а я в партии не состою. Вопрос Пятакова застал меня врасплох, и мой ответ был заикающийся, путаный. Я начал в дополнение говорить, что, будучи беспартийным, очень далек от знания, что происходит наверху партии, а без этого нельзя дать правильную оценку его заявлению.

«Скажите, пожалуйста, Валентинов,— крикнул Пятаков,— для чего вы изображаете из себя дурака, явно сочиняете, что будто ровно ничего не знаете, что происходит в партии? Из бесед с вами в Москве я мог убедиться, что вы знаете о том гораздо более, чем это полагалось бы беспартийному, хотя понимал, что такое знание вам было нужно, чтобы не садиться в лужу, а с большей осведомленностью в политической партийной обстановке редактировать газету. Откуда вы получали нужные вам сведения, не допытываюсь, но утверждаю,— чтобы сказать, как вы относитесь к моему заявлению, не нужно большого знания

того, что делается в Цека, в Политбюро, в Оргбюро и других учреждениях партии».

Так как я продолжал уклоняться от ответа, настаивая, что у меня нет всех данных для оценки его заявления, Пятаков язвительно и грубо мне крикнул:

«Я знаю, почему вы не хотите ответить на мой вопрос. Очевидно, просто боитесь. А вдруг, будучи искренним, ляпнете нечто такое, что воняет затхлым меньшевизмом или чем-то похуже этого. Вот возвратитесь в Москву, а Пятаков вослед настрочит куда следует письмецо с советом получше наблюдать за вами, так как, мол, из разговора с Валентиновым выяснилось, что он совсем не такой, каким мы его видим. Такого рода боязнь заставляет вас дипломатничать, выдумывать разные отговорки, увертки, чтобы не ответить на вопрос. Не думал, что перед лицом начальства, хотя бы в данное премя исключенного из партии, вы обнаружите такую трусость. Прежде казалось, что вы не трус, а теперь вижу, что никакой смелости и никакого мужества у вас нет».

Слова Пятакова так меня разозлили, вернее сказать, бросили в такую ярость, что без малейшей уже думы, что это может плохо отразиться на осуществлении моего плана служить в Париже, у меня сразу появилось решение выпалить без всяких умолчаний, что я думаю о его заявлении.

«Отвечая на обвинения в трусости,— сказал я,— мне приходится сказать вам в лицо вещи малоприятные. Из деликатности я не хотел о том говорить, пеняйте же на себя, вы сами меня вынудили на ответ. Так как я читал ваше заявление почти месяц тому назад, не могу точно указать, какие в нем слова и выражения вызвали у меня особое недоумение».

«Я вам дам его»,—сказал Пятаков и, вынув из ящика своего письменного стола «Правду», протянул ее мне.

По правде сказать, я не стал перечитывать заявление Пятакова внимательно, я выхватил из него лишь особенно «ударные» места. Я был слишком озлоблен грубостью Пятакова, и мне хотелось поскорее на нее ответить, не стесняясь в выражениях. Мне придется довольно подробно изложить, что я говорил, без такой передачи не будет понятна самая речь Пятакова и неизвестно будет, на что он возражал.

«Ваше заявление,— сказал я Пятакову,— занимает в «Правде» целых два столбца, в этих пределах можно

было бы многое сказать и объяснить, но самого главного вы не говорите и не объясняете. В течение ряда лет вы рьяно боролись за идеи оппозиции. Еще в 1923 г. в защиту ваших идей выступали с резкой критикой позиции и политики Политбюро и Центрального Комитета, сначала в компании трех оппозиционеров, а потом сорока пяти. Вплоть до конца 1927 г. вы держались за эти идеи, их защищали, их пропагандировали. Значит, вы были в них убеждены. Чем же тогда объяснить, что, как только вас ударили, исключили из партии, от убеждений ваших сразу ничего не осталось? Они испарились, исчезли. Такое же изменение взглядов произвели Зиновьев и Каменев. Этой мгновенности изменения убеждений я абсолютно не понимаю и в нее не верю. Вы не школьник, который немедленно просит прощения, когда его бьют по руке или в наказание ставят в угол. Не свидетельствует ли это о том, что желание состоять, находиться во что бы то ни стало в партии, занимать в ней большой пост у вас много сильнее ваших убеждений? Я понял бы, если бы вы сказали, что, оставаясь при прежних убеждениях, пропагандировать их не будете, а будете держать их про себя, будете стараться проводить принятые партией решения. Я понял бы вас и в другом случае: вас исключили из партии, но через год или какое-то большое время, убедившись, что жизнь идет вразрез с вашими идеями, вы найдете их ложными, откажетесь от них и на этом основании будете хлопотать об обратном приеме в партию. У вас совсем не то. У вас скоропалительная смена убеждений произошла, можно сказать, в 24 часа или 24 минуты, с субботы на воскресенье. Вы пишете, что «теперь я не считаю правильным защищать основную установку «платформы» оппозиции от 3 сентября 1927 г.». Но вы ее защищали еще в декабре, а с тех пор прошло только два месяца. Разве можно убеждения, за которые вы сражались в течение ряда лет со свойственной вам страстью, упорством, настойчивостью, сразу, в самый краткий срок, выбросить как остаток выкуренной папиросы или грязный платок? Я считаю это просто невозможным. Вы убежденный человек, а у таких людей этого не бывает. Повторяю, это психологически невозможно. Какой же из этого следует вывод? Не обижайтесь, прямо скажу: искренность и правдивость вашего заявления весьма и весьма сомнительны. Вы человек гордый, но в данном случае

полностью жертвуете и гордостью, и самолюбием — только бы быть снова принятым в партию. Это желание вызывает у вас внешний отказ от идей оппозиции, тогда как внутренне вы, наверное, продолжаете верить в истинность своей линии. В вашем заявлении вы раз пять или шесть вставляете в текст «диктатура пролетариата», забывая, что Ленин называл этот термин жестоким и рекомендовал им зря не пользоваться. А у вас в заявлении он появляется зря, вроде необходимого украшения и ни в какой связи с самой сущностью и целью вашего заявления не находится. Два или три раза вы говорите, что партия проводит ленинскую политику. О какой ленинской политике идет речь? Есть два Ленина: один — до НЭПа, другой — вводящий НЭП. С 1921 г. ленинская политика выразилась именно в проведении НЭПа и особенно развита в его последних произведениях 1923 г. Но ведь мне, как всем другим, хорошо известно, что НЭП вы никогда не принимали, считали его политикой ошибочной. Почему же в своей статье вы пишете, что у вас «нет сомнения», что партия проводит и проводила ленинскую политику, тогда как сомнения именно в этом отношении и отталкивали вас и ваших единомышленников от линии партии, проводившейся с 1921 г.? Вы заявляете, что у вас «нет никаких колебаний» по вопросу об обязательности решений высших учреждений партии и вы «никоим образом» не уклоняетесь от подчинения их решениям. И тут же указываете, что такое неподчинение вас и других привело к фракционности, к «выступлениям», которые, как вы пишете — «явно ослабляли партию как носительницу диктатуры пролетариата». Однако к решению подчиняться вы пришли лишь после того, как вас исключили из партии, так как без такого обещания подчиняться «высшим учреждениям» вас в партию не возвратят. И снова встает тот же вопрос: насколько искренно ваше заявление? Ходят слухи, они долетели и до меня, что некоторые члены самого высшего учреждения партии, так сказать, «заразились» идеями оппозиции, стали к ним склоняться. Подобные слухи находят себе отголосок в некоторых решениях и резолюциях 15-го съезда. Если это так, тогда подкладка вашего заявления и желания быть возвращенным в партию могла бы стать ясной. Вы видите, что какие-то члены Политбюро или Цека идут навстречу вашим идеям, следовательно, между ними и вами прежние разногла-

сия исчезают, а при этих условиях исключение вас из партии делается недоразумением. Вы упрекали меня в трусости, отсутствии смелости говорить то, что думаю, а теперь я скажу: смелости-то именно у вас нет; если бы она была — то вы должны были бы объяснить, что, так как произошло и происходит изменение отношения Цека к идеям оппозиции, вы, один из ее лидеров, это приветствуете, от фракционной борьбы отказываетесь и без колебаний подчиняетесь новым решениям партии. Вместо этого вы написали совсем другое, нечто туманное, неясное, неловкое, неизбежно наталкивающее на вывод, что искренность в вашем заявлении отсутствует».

Я говорил довольно долго, но нет надобности передавать полнее мною сказанное. Разозленный упреками в трусости и тоном, которым Пятаков об этом говорил, я отвечал ему более резко, я бы сказал, более запальчиво, чем это видно из моей передачи. Слушать обвинение в неискренности Пятакову было явно неприятно, однако он не сделал ни малейшего жеста, ни малейшей попытки меня остановить или перебить мою речь. Только щеки его краснели. Когда кто-то позвонил ему по телефону, он не стал даже слушать: «Я занят, позвоните через час». Москалева, вошедшего в кабинет и робко доложившего, что Пятакова кто-то давно ждет, он просто выгнал. Волосы на голове и жидкая бородка Пятакова были светло-рыжие, а под лучами солнца, падающего из большого окна кабинета, казались ярко- и неестественно желтыми. И эта желтизна, в сочетании с покрасневшими щеками, придавала Пятакову какой-то странный облик, по сей день запечатлевшийся в моей памяти. Он ни на минуту не выпускал папиросы изо рта, ни одной не докуривал до конца, кидал их в пепельницу, нервным движением тушил и тут же из коробки брал другую. И так все время, пока я говорил. А когда я кончил, Пятаков начал свой ответ сидя, потом встал и продолжал говорить, расхаживая по комнате, то подходя ко мне, то отходя к окну. И там, повернувшись ко мне спиною, не глядя на меня, точно не только мне, а еще кому-то кроме меня, твердыми, отчеканенными фразами пояснял свою позицию, правильнее бы сказать — скрытые основы своего мировоззрения. Его речь, как я уже раньше сказал, произвела на меня ошеломляющее впечатление. В сравнении с услышанным то, что я говорил, было маленьким, бесцветным и ненужным.

Сделать возможно точную и полную передачу его речи я считаю крайне важным. Она бросает свет на психологию большевизма-коммунизма и, в частности, на все поведение Пятакова на суде 1937 г. Зарегистрировать эту передачу мне тем легче, что содержание ее я неоднократно передавал очень многим лицам. Позднее, уже находясь в эмиграции, я услышанное от Пятакова, когда начались кошмарные московские процессы, рассказывал М. А. Алданову, который нашел, что от речи Пятакова веет подлинным духом учения главы иезуитов, с его правилом — perinde ac cadavér*. Рассказывая с доступной для меня точностью о смысле речи Пятакова, я *подчеркну* в ней некоторые места, являющиеся самыми важными. Их Пятаков произносил с особым нажимом. Они врезались в мою память, ручаюсь, что передаю их почти со стенографической точностью.

«Должен отказаться,— начал свою речь Пятаков,— от наименования вас трусом. Не боясь бить «начальство», вы сказали, кажется, даже больше того, что, может быть, следовало сказать. Во всяком случае, кое-что из вами сказанного услышать не ожидал и за откровенность благодарю. Укажу, что я совсем не зря, как вы полагаете, ввел в мое заявление упоминание о диктатуре пролетариата. Я хотел подчеркнуть, что этой диктатурой изгоняется другая возможная диктатура — кулачества, а за нею политически обязательно появляется диктатура вообще буржазии во главе с крупнокапиталистической. НЭП опасен тем, что потихоньку, незаметно развязывал кулака. Он создавал особую атмосферу, в которой кулак может жить, развиваться, постепенно жиреть, заражать своим духом все крестьянство, а через него, с помощью передаточных социальных слоев, производить давление на партию с вытекающими отсюда последствиями, то есть сначала маленькими уступками, потом большими, потом еще большими, создающими в конечном счете то, что стали называть «атмосферой термидора». Полностью отрицаю, будто, по вашим словам, есть два Ленина — один до НЭПа, другой с введением его. Считать НЭП мировоззрением Ленина — значит его не знать и не понимать. Вы ссылаетесь на последние произведения Ленина, написанные в 1923 г., однако, не только на мой взгляд, но по мнению и многих других,

* Подобно трупу (*лат.*).— *Ред.*

в том числе и членов Политбюро, эти статьи были очень неудачными, были написаны под давлением угнетающей, обескураживающей Ленина болезни. Но почему сосредоточивать внимание на них, а не на замечательной, тогда же написанной статье «О нашей революции», бьющей Каутского и избитую болтовню людей Второго Интернационала о так называемых объективных предпосылках социалистической революции? Старая теория, что власть пролетариата приходит лишь после накопления материальных условий и предпосылок, заменена Лениным *новой теорией*. Пролетариат и его партия могут прийти к власти без наличности этих предпосылок и уже потом создавать необходимую базу для социализма. Старая теория создавала табу, сковывала, связывала революционную волю, а новая ей полностью открывает дорогу. Вот *в этом растаптывании так называемых «объективных предпосылок», в смелости не считаться с ними, в этом призыве к творящей воле, решающему и всеопределяющему фактору — весь Ленин. Никакого другого нет.* Не отрицаю, что из идей, образующих НЭП, плюс некоторые идеи из последних, неудачных, статей Ленина, можно, с грехом пополам, построить мировоззрение. Это будет уже не ленинское мировоззрение, пропитанное волею, а затхлое, реформистское. Иногда можно услышать наименование октябрьской революции *«чудом»*. Это верно, в ней много чуда, и *чудо* сделано Лениным, потому что он не пожелал считаться с так называемыми «объективными препятствиями» и отсутствием «объективных» предпосылок. *Чудо есть результат проявленной воли.* Чудо Ленина не могло бы превратиться в жизнь, было бы только кратковременной вспышкой, для истории мимолетным явлением, если бы Ленин не положил основания *другому чуду — такому фактору, как большевистская, коммунистическая партия,* не имеющая никаких исторических прецедентов, ни на какую партию не похожая ни по своей организации, ни по своему духу, ни по силе своего действия. Если бы этой партии не было, Октябрьская революция была бы без последствий, ничем важным не окончилась бы. Если мы вышли победителями из страшного голода, полнейшего развала хозяйства, полосы интервенций, гражданской войны, когда бывали моменты, что нам наступает конец,— этому мы обязаны только партии. В ней не всегда и не все было благополучно, но она свои недостатки неизменно преодолевала. Если мы из года

в год побеждали на всех хозяйственных фронтах, делались не с каждым годом, а с каждым полгодом, с каждой четвертью года все сильнее и сильнее; если вот я сижу теперь торгпредом в Париже и десятки французиков бегают ко мне в чаянии, что я соблаговолю им дать какой-нибудь заказ,— все это сделала партия. Только она. От нее все. *Не будь* скрепившей всю страну *нашей партии,* не будь ее управления, не вдохни она повсюду свойственный ей дух — *никакого СССР не было бы.* Что было бы? Черт знает что было бы. Когда отдаешь себе ясный отчет, что такое партия, что она сделала и делает,— просто чудовищным кажется ваш вопрос — почему вы так огорчены, что вас — Пятакова — исключили из партии. Почему вы так хотите возможно скорее в нее вернуться? Такой вопрос в ваших устах, большевика в прошлом, но ушедшего потом к меньшевикам, не случаен. Характерной чертой меньшевизма было органическое непонимание, что такое настоящая партия, чем она может быть и должна быть. Это обнаружилось еще двадцать пять лет тому назад на Втором съезде только что складывавшейся партии, в связи с обсуждением первого параграфа устава партии, когда все еще было в тумане, недоговорено, и все же можно было догадаться, что люди, образующие партию, состоят из индивидов разной породы, разного теста, разной психической натуры. Большевикам был совершенно чужд панический страх меньшевиков пред партийной дисциплиной, а эта черта и сделала возможным образование могущественной большевистской коммунистической партии. Различие психической натуры большевиков и меньшевиков сказалось в их отношении к такому вопросу, как диктатура пролетариата, конечно, неразрывно связанная с идеей подчинения и дисциплины. Наша революция шла под флагом диктатуры пролетариата, и Ленин превосходно показал, что действительным носителем и выразителем этой диктатуры может быть только партия. Он прямо заявил, что после опыта двух первых годов советской власти только тупым людям неясно, что диктатура пролетариата иначе как через коммунистическую партию осуществляться никак не может. Ленин говорил: «Диктатура пролетариата есть власть, осуществляющаяся партией, *опирающейся на насилие и не связанной никакими законами»*. На чем в этой формуле нужно делать главное ударение — на *«насилии»* или на *«несвязанности никакими законами»*? Конечно, на

последних словах. Термин «никакие законы» не относится к физическим или физиологическим законам, их выбросить и с ними не считаться нет возможности. Но все, что находится вне этих законов, все, на чем лежит печать человеческой воли,— не должно, не может считаться неприкосновенным, связанным какими-то непреодолимыми законами. Закон — есть ограничение, есть запрещение, установление одного явления допустимым, другого — недопустимым, одного акта возможным, другого — невозможным. *Когда мысль держится за насилие, принципиально и психологически свободное, не связанное никакими законами, ограничениями, препонами,— тогда область возможного действия расширяется до гигантских размеров, а область невозможного сжимается до крайних пределов, падает до нуля. Беспредельным расширением возможного, превращением того, что считается невозможным, в возможное, этим и характеризуется большевистская коммунистическая партия. В этом и есть настоящий дух большевизма.* Это есть черта, глубочайше отличающая нашу партию от всех прочих, делающая ее партией «чудес». Большевизм есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, неосуществимым и недопустимым. Ей доступно то, что всем другим натурам, небольшевистским, кажется невозможным. Вы с удивлением и с упреком говорите, что я, исключенный из партии, чтобы снова в ней находиться, иду на все, готов пожертвовать своею гордостью, самолюбием, своим достоинством. Это свидетельствует, что вам совершенно чуждо понимание величия этой партии. Ради чести и счастья быть в ее рядах мы должны действительно пожертвовать и гордостью, и самолюбием, и всем прочим. Возвращаясь в партию, мы выбрасываем из головы все ею осужденные убеждения, хоть бы мы их защищали, когда находились в оппозиции. Но так как, по вашим словам, изменить убеждения в кратчайший срок будто бы нельзя, вы заключаете, что наши заявления, в том числе мое, неискренни, лживы. Видимо, лишь из некоторой деликатности вы не сказали, но, может быть, думаете, что желание возможно скорее быть возвращенным в партию инспирируется у меня и других низменным желанием возвратить себе какие-то потерянные при исключении из партии материальные блага, удобства, привилегии и прочее. Я согласен, что небольшевики и вообще категория обыкновенных людей не могут сделать мгновенного изменения, переворота, ампутации своих убеждений. Но настоящие большевики-коммунисты — люди особого закала, особой породы, не имеющей себе исторических подобий. *Мы ни на кого не похожи.* Мы партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным; проникаясь мыслью о насилии, мы направляем *его на самих себя* и, если партия того требует, если для нее это нужно или важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из мозга идеи, с которыми носились годами. Вам это абсолютно непонятно, вы не в состоянии выйти из вашего узенького «я» и подчиниться суровой дисциплине коллектива. А вот настоящий большевик это может сделать. Личность его не замкнута пределами «я», а расплывается в коллективе, именуемом партией. Когда, прося о восстановлении меня в правах члена партии, выбрасывая свои прежние взгляды, сопротивление, идущее от гордости и самолюбия, я заявляю, что подчиняюсь партии,— я не лгу, а говорю правду. Согласие с партией не должно выражаться только во внешнем проявлении. Это и есть двурушничество. Подавляя свои убеждения, выбрасывая их,— нужно в кратчайший срок перестроиться так, чтобы внутренно, всем мозгом, всем существом, быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии. Легко ли насильственное выкидывание из головы того, что вчера еще считал правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считаю ложным? Разумеется, нет. Тем не менее *насилием над самим собою* нужный результат достигается. Часто говорят, лучше отказаться от жизни, чем от той или другой *усвоенной человеком дорогой идеи. Отказ от жизни*, выстрел в лоб из револьвера — сущие пустяки пред другим проявлением воли, именно тем, о котором я говорю. Такое насилие над самим собою ощущается остро, болезненно, но в прибегании к этому насилию с целью сломать себя и быть в полном согласии с партией и сказывается *суть настоящего идейного большевика-коммуниста,* до конца связанного с партией. Совсем недавно от одного большого пошляка я слышал следующего рода рассуждение: коммунистическая партия, несмотря на все ее самомнение, не есть непогрешимая, неошибающаяся организация. Она может жестоко ошибаться, например, считать черным то, что в действительности явно и бесспорно бело. Неужели и в этом случае — с усмешечкой спрашивает он меня — вы тоже, чтобы быть в согласии с партией, с ее высшими орга-

нами, будете считать белое черным? Пошляк хотел уловить меня в противоречии — это попытка негодная. Ему и всем, кто подсовывает мне этот пример, я скажу: *да, я буду считать черным то, что считал и что могло мне казаться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с нею.* Вы говорите, что, по дошедшим до вас слухам, часть Политбюро, часть высшего руководства партии, «заразилась» идеями оппозиции. Углубляться в этот вопрос, обсуждать его с вами в мои намерения не входит, мимоходом замечу, что, если, допустим, ваш слух верен, тогда в этом случае мне пришлось бы менее болезненно ампутировать свойственные мне до сих пор идеи и с большей легкостью следовать за решениями партии.

Остается последний вопрос: к чему ведет то, что я назвал превращением невозможного в возможное? Выехав из Москвы и добравшись до Парижа, вы проехали три страны — Польшу, Германию, Францию. В сравнении с нашей еще убогой, еще ободранной советской страной они могут казаться полными жизни, крепко стоящими на ногах. Капитализм, утверждают некоторые умники, стабилизировался, во всем мире исчезла революционная ситуация. Это ложь, иллюзия, чистейший капиталистический мираж. Польша Пилсудского — искусственный, мыльный пузырь, только толкнуть ее, и она вся развалится. Германия до основы, до самого пупа, подсечена коммунизмом. В ней все признаки огромного приближающегося кризиса, от которого никакими социал-демократическими заплатами спастись нельзя. Франция внешне цветет, но ведь о ней серьезно говорить нельзя — это только проститутка с намазанными щеками. За океаном, в Соединенных Штатах, подкрадывается кризис такой силы, которого американский капитализм не вынесет, треснет и начнет разлагаться. На все, что делается в капиталистическом мире, нужно смотреть не слепыми глазами и не вылавливать цифры, якобы свидетельствующие о стабилизации капитализма. Этим не спасется трухлявый капиталистический мир. Он развалится гораздо скорее, чем о том предполагают, и в его развале сыграет огромную роль национально-освободительное движение народов Востока и вообще стран, находящихся ныне под пятой европейского империализма. Прогноз Ленина в этой области безукоризненно правилен. А что будет за это время с нами? *Наша партия — партия чудес — нашла чудесное средство заставить советскую страну шагать вперед недоступными для других стран семимильными шагами. Это средство называется пятилетними планами.* Пока над их разработкой сидели беспартийные экономисты, техники, статистики — на планах лежала печать трусости, сомнений, отсутствия размаха, связанность всякими опасениями и всякими «законами». Но партия берет теперь это дело в свои руки. Оно уже явно улучшается и изменяется. С помощью этих планов мы сделаем невозможное возможным и в кратчайшее время станем сильнейшей индустриализированной страною в мире. Для меня это неоспоримая истина. А каждый год нашего существования, нашего укрепления и мощи, нашего влияния на мир — сокращает на 5—10 лет самое существование капитализма. Мы идем вверх, капитализм — вниз. Я убежден, что через 15—20 лет капиталистический мир будет представлять собой развалины, охватываться революциями».

Пятаков в это время стоял у окна, повернувшись ко мне спиною. Но слова его я прекрасно слышал, все фразы его были отшлифованы, словно он читал что-то написанное, притом с явным фанатизмом. Потом, круто повернувшись, подошел ко мне и почти со злобою продолжал свою речь:

«В революции, подбирающейся к миру, неужели вы думаете, что я — Пятаков — не буду участвовать? Где же тогда я буду? А за каким чертом я тогда жил? Неужели вы думаете, что в великом мировом перевороте, в котором решающим фактором будет наша партия, я буду вне ее? А вне — значит быть нулем. Чтобы быть в партии, участвовать в ее рядах в грядущих мировых событиях — я должен отдать ей без остатка самого себя, слиться с нею, чтобы во мне не было ни одной частицы, не принадлежащей партии, с нею не согласованной. И еще раз скажу: *если партия для ее побед, для осуществления ее целей потребует белое считать черным — я это приму и сделаю это моим убеждением».*

Окончив свою речь, Пятаков с еще сильнее покрасневшими щеками снова сел за стол и взял папироску. Руки его слегка дрожали, он не сразу мог закурить папиросу и нервным движением переломал несколько спичек.

За истекшие десятилетия мир узнал столько чудовищного, кошмарного, могущего казаться просто невероятным, созданием необузданной, сумасшедшей фантазии, что я могу легко допустить, что пресыщенные этим знанием, те, кто теперь прочитает мою запись, не получат от речи Пятакова потрясения, мною испытанного. Людей сейчас ничем удивить нельзя. Но речь Пятакова я слышал в марте 1928 г. и

был ею ошеломлен. Тогда еще не было известно, что коммунистическая партия действительно не связана «никакими законами» и способна «все невозможное сделать возможным». В марте 1928 г. у меня, находившегося в Париже, не было еще ощущения, что приближается чудовищное царство Сталина. Это я начал смутно чувствовать, лишь возвратясь из-за границы в Москву. Речь Пятакова слушал с ужасом. Неужели, думал я, таковы на самом деле его убеждения? Не лжет ли он? Не хочет ли для чего-то меня просто эпатировать? И неужели его политическую «философию» можно вывести *прямо от Ленина?* Ведь ход мысли Пятакова неумолимо приводил к выводу, что, раз все возможно, тогда и *«все позволено»*. Можно и должно, если этого требует партия, в 24 часа перевернуть наизнанку свои убеждения. Должно, если это нужно партии, белое считать черным. Можно и должно так себя настроить, дрессировать, чтобы при всяких движениях и поворотах партии быть всегда с нею внутренно согласным. Возражать Пятакову мне и в голову не приходило. Я лишь пробормотал, что благодарю за данные мне объяснения и не смею больше думать, что в его заявлении о возвращении в партию есть какая-то неискренность. У меня было одно только желание — скорее уйти из кабинета Пятакова, а чтобы сделать более приличным мой поспешный уход, я сказал, что сегодня же вечером уезжаю из Парижа и мне нужно немедленно ехать в Asniéres, где живет моя сестра, и с нею проститься. На самом же деле я уехал из Парижа три дня спустя.

Осенью того же 1928 г. Пятакову удалось добиться своего перевода из Парижа в Москву, с назначением председателем Государственного банка. На место его в Париже был назначен Туманов — симпатичный, культурный, мягкий коммунист. Позднее он был председателем Промышленного банка и был расстрелян Сталиным в 1937 или 1938 г. Однажды Туманов, по каким-то причинам не спешивший выезжать из Москвы в Париж, встретившись со мною, сказал, что подтверждает сделанное мне Пятаковым предложение служить в парижском торгпредстве и я, не задерживаясь в Москве, должен ехать туда, как только получу от французов визу. Но с выдачей этой визы французское консульство медлило, и для меня создалось неприятное, неопределенное положение: в Париж неизвестно попаду ли, а из «Торгово-промышленной газеты» ушел.

Поздней осенью, может быть в начале декабря, меня известили по телефону, что Пятаков просит к нему зайти. Он жил в Гнездниковском переулке в одиннадцатиэтажном доме, принадлежавшем прежде Нирензее. Дом был заселен только коммунистами. Пятакова я нашел в жалкой узенькой комнате, в которой помещались кровать, тумбочка, стул и больше ничего. Почему он избрал или попал в такое помещение — не знаю. Он был болен, лежал в кровати, покрытый изношенным, скверным одеялом, вроде тех, что бывают в тюремных камерах или казармах. Пятаков принял меня очень приветливо, пояснил, что вызвал меня, чтобы сказать: если французы мне не дадут визы и я не смогу попасть в парижское торгпредство, он охотно возьмет меня на службу в Государственный банк. За такой знак внимания я самым сердечным образом его поблагодарил. Мой визит к нему продолжался всего несколько минут, так как очень скоро, почти вслед за мною, в комнату вошел А. Н. Розенгольц. Не помню, какой пост он тогда занимал, знаю, позднее был народным комиссаром внешней торговли. По тому, как Пятаков с ним переглянулся, я понял, что их нужно оставить наедине, и немедленно ушел. Десять лет спустя (в 1938 г.), читая отчеты о суде над Рыковым, Бухариным, Крестинским, Ягодой и другими, в том числе и Розенгольцем, я с мучительной настойчивостью вспоминал приход Розенгольца к Пятакову. Вышинский на суде допытывался, как «реагировал» Розенгольц на арест, потом на расстрел Пятакова. И Розенгольц, обреченный, как все другие обвиняемые, повторять небылицы (например, заявлять, что был агентом немецкого и английского шпионажа), поведал Вышинскому, что после расстрела Пятакова якобы пришло письмо от Троцкого, требующего, чтобы маршал Тухачевский возможно скорее произвел военный переворот. Я знал, что Розенгольц находился в оппозиции, был троцкистом, единомышленником Пятакова и вместе с ним в 1923 г. подписывал «декларацию 46-и». Неужели, думал я, выходя от Пятакова, он и Розенгольц — «конспирируют», по-прежнему находятся в оппозиции и ведут подпольную борьбу против Цека и Политбюро? А потрясшая меня речь Пятакова, которую я слышал девять месяцев пред этим,— притворство, ложь, выдумка? Скоро после этого, уже будучи на службе в торгпредстве в Париже, мне пришлось узнать, что такого вывода нельзя делать. О том, что происходило в Москве, мы в Париже знали из разных источников. Знали, что в Политбюро идет ожесточенная борьба Рыкова, Бу-

харина, Томского с группой, возглавленной Сталиным. Знали, что Сталин уничтожил оппозицию, однако крал все ее идеи и, восприняв в самой варварской форме теорию о «социалистическом» накоплении Преображенского, считал, что ускоренную индустриализацию страны можно построить на «дани» крестьянства, уничтожении кулаков и всех остатков буржуазии. Именно этого всегда и хотел Пятаков. Таким образом, прежние его разногласия со Сталиным, когда тот шел на поводу у Рыкова и Бухарина, полностью исчезли. Для него Сталин становился той фигурой в Политбюро, которую следует поддерживать и за нею идти. Во французском троцкистском журнале «Contre courant» (появившемся в мае 1929 г., № 29—30) была почти немедленно указана эта ориентация Пятакова на Сталина. В беседе с Каменевым, о которой передает этот журнал, Пятаков прямо заявил, что «против Сталина безнадежно выступать. *Это (в Политбюро) единственный человек, которому еще можно повиноваться»*. Все, что потом доходило до меня из Москвы, подтверждало, что в глазах Пятакова Сталин, возглавляя руководство партии, проявляет дорогие для Пятакова стремления вести коммунистическую партию по пути превращения «невозможного в возможное».

Двадцать первого декабря 1929 г., как известно, произошло чествование пятидесятилетия Сталина. Орджоникидзе, Каганович, Куйбышев, Ворошилов, Калинин, Микоян, Енукидзе, Бубнов, Крумин, Савельев усадили его на трон. Он был, как Ленин, объявлен «вождем» партии, перед ним склонились ЦК, ЦКК, иностранные коммунистические партии, Профинтерн. Как многие другие, Пятаков мог избежать выражения Сталину своих верноподданнических чувств. Чествовать Сталина его никто не приглашал. Тем не менее через два дня после коронации Сталина, т. е. 23 декабря, в «Правде» появляется статья Пятакова «За руководство», являющаяся замечательным добавлением и иллюстрацией к речи, которую я слышал от него в Париже. Это еще раз покаяние и вместе с тем торжественная клятва быть всем существом и во всем внутренно согласным с руководством партии, отныне ведомой Сталиным. Статья Пятакова слишком велика, чтобы ее здесь полностью передавать. Возьму лишь некоторые места.

«Демонстрация ко дню 50-летия тов. Сталина имеет глубочайший политический смысл. Партия проверила за эти годы не только свою линию, но и своих вождей. Вопрос о руководстве разрешен — таков главный, основной решающий итог. Теперь ясно, что нельзя быть за партию и против данного Центрального Комитета, нельзя быть за Центральный Комитет и быть против Сталина. Я был против руководства и против т. Сталина. Это тягчайшая в моей жизни политическая ошибка. Нет коммунистической партии без твердого руководства, как нет и не может быть диктатуры пролетариата без коммунистической партии. Линия партии и ее ЦК показала свою правильность. Индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, борьба против классовых врагов — все это до того очевидно, что нет нужды доказывать».

Пятаков пишет, что «только безнадежные пошляки и ослепленные ненавистью к партии могут толковать так, что речь идет о том, кого слушаться». Это пыль в глаза и ненужная болтовня. Речь и тогда, а позднее еще более явно, шла именно о том, *кого нужно слушаться,* и так как своею статьей Пятаков выразил полную готовность «слушаться» Сталина — его политическое положение изменилось. Пятакова возвратили в партию, возвратили в реорганизованный ВСНХ, где он стал заместителем народного комиссара тяжелой промышленности (Орджоникидзе), а это как раз область, в которой он больше всего хотел работать. Пятаков стал принимать участие в редакции Большой Советской Энциклопедии, вместе с Максимом Горьким редактировать журнал «Наши достижения». Под его редакторством на русском, французском, немецком, английском языках стали выходить альбомы «СССР на стройке». При небольшом тексте в них печаталась масса фотографий, импозантно показывающих тем, кто в это не хотел верить, грандиозность «стройки» в СССР новых заводов, электростанций, шахт. Человека, более подходящего для редактирования такого издания, не могло быть, как не было и другого, более чем Пятаков влюбленного в «процесс индустриализации». Он издавна был певцом индустриализации, отдавался ей до потери сил, до полного истощения, желая «невозможное сделать возможным». В 1934 г. Пятаков возвращен на верх партии. На съезде его избирают, правильнее сказать, Сталин его назначает членом Центрального Комитета, так же как он назначает Межлаука, братьев Косиор, Ягоду, Рудзутака и прочих, потом уничтоженных. В то же время Бухарин, Томский, Рыков Сталиным снижаются в чине, делаются кандидатами в члены ЦК, т. е. равными какому-нибудь Булганину.

Что же случилось потом? Что в 1936 г. привело к аресту Пятакова, а в январе 1937 г. к суду над ним

и расстрелу, так же как Муралова, Дробниса, Богуславского и других? Самый простой ответ был таков: с 1936 г. наступила неумолимая эпоха показательных московских процессов и казней. Пятаков до 1928 г., бывший «против Сталина» как «руководителя», и в 1929 г. в вышецитированной статье об этом открыто заявивший, неизбежно был предназначен к уничтожению. Сталин уничтожал всех, кто *когда-либо* был против него. Что же касается вопроса, чем вызывались эти знаменитые, кошмарные, загадочные инсценировки суда, то их, как и все, что тогда происходило в Кремле, нельзя *до конца* понять, если не знать, что Сталин в 1934 г. был психически болен, охвачен паранойей со всеми ей присущими, и в нем с максимальной степенью выраженными, признаками: жуткой, злобной, слепой манией преследования и беспредельной манией величия. На это обстоятельство я указал еще в 1953 г. в статьях во французской печати и «Новом Русском Слове», опираясь на сведения, полученные из самого достоверного, из Москвы идущего, источника. Все, что я сообщил тогда, в 1956 г. полностью подтверждено секретным докладом Хрущева, но в 1953—1954 гг. это вызвало со стороны некоторых, завороженных «величием» Сталина, поток возражений, которые, после доклада Хрущева, иначе как никчемными назвать не могу.

На судебных процессах, ведомых Вышинским, все обвиняемые, в том числе и представители «ленинской старой гвардии», покорно признавались в покушениях на жизнь Сталина и в прочих не сделанных ими преступлениях. Эти признания вырывались различного характера физическими и моральными пытками, но после того, что я слышал в Париже от Пятакова, я готов допустить, что его поведение на суде может быть объяснено не только пытками. Пятаков мог верить, считать или заставить себя считать, что требуемые от него показания и признания нужны партии, ее руководству, необходимы для упрочения и успехов строительства коммунизма, превращения невозможного в возможное. Ведь это его слова, что, если партия того потребует, он, Пятаков, белое будет считать черным и для этого сделает особого рода «насилие» над самим собою, позволяющее ему в 24 часа, согласно требованию партии, изменить свои взгляды на вещи. Если Пятаков действительно был проникнут такого рода духом, тогда нет ничего удивительного, что на суде он «добровольно и сознательно» признавался решительно во всем, что требовал от него Вышинский, в свою

очередь выполнявший требования «руководства» партии в лице «великого вождя — Сталина». Если для него партия в это время отождествлялась с ее руководством, т. е. со Сталиным, тогда становится понятной омерзительная, гнуснейшая статья Пятакова, помещенная 21 августа 1936 г., накануне его ареста. Приветствуя расстрел Каменева и Зиновьева, Пятаков писал (приведу лишь несколько выдержек):

«Трудящиеся всего мира знают и любят своего Сталина и гордятся им. Под блестящим руководством тов. Сталина страна наша на всех парах пошла на невиданный подъем. Взгляды Троцкого, Каменева, Зиновьева не имели ничего общего с линией Ленина, продолжателем и творцом которой в новых условиях был и остается тов. Сталин. Победила единственно правильная, единственно победоносная линия партии — линия нашего великого Сталина. У бандитов, вдохновляемых Троцким из-за границы, нет никаких идей, одно голое честолюбие и звериная ненависть к победоносной партии Ленина и Сталина. Мне нестерпимо стыдно, что и я в 1925—1927 гг. шел вместе с этими бандитами. Вину свою за тогдашние тягчайшие политические ошибки до сих пор остро сознаю. Я был виноват, что не понял партийное руководство, не понял правильный путь развития социализма. Когда понял — пошел по новому, правильному пути, по пути Сталина, по которому с тех пор твердо и радостно иду вместе со всей партией. Беспредельное тщеславие и самовлюбленность Троцкого, Каменева и Зиновьева привели их на гнусный путь двурушничества, лжи, неслыханного обмана партии. Их надо уничтожить как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям. Тов. Сталин, как всегда прозорливый, учил нас не терять революционной бдительности, не забывать, что классовый враг продолжает всякими доступными ему средствами пытаться нанести вред диктатуре пролетариата. Враг наш увертлив. Он притворяется. Лжет. Заметает свои следы. Втирается в доверие. Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Честь и слава работникам НКВД. Каждый из нас должен еще более повысить свою бдительность, помочь партии, помочь НКВД, этому разящему мечу в руках диктатуры пролетариата, разоблачить агентуру классового врага и вовремя уничтожить ее».

Это клише всех обвиняемых на московских процессах, делавших попытку как-нибудь умолить кровавого Сталина. Но, повторяю, я допускаю и даже склоняюсь

к тому, что Пятаков писал свои глупости, делал свои признания, шел к смерти с убеждением, что все это нужно для победы коммунизма. Это делает историю Пятакова до кошмара страшной, тем более если знать, что «великий вождь», которому он, почти на коленях, присягал, сознательно превращая себя в «органный штифтик», находился в это время в самом разгаре сумасшествия, утихшего лишь в 1939 г., возвратившегося после 1946 г. и вспыхнувшего с такою силою, что Сталин, как поведал Хрущев, стал считать Ворошилова агентом английской разведки и собирался уничтожить всех членов Политбюро. Таких фанатиков, как Пятаков, ныне в коммунистической партии СССР, думаю, больше уже нет.

Слово (В мире книг), 1989, № 11

СМЕРТЬ И СУДЬБА

«Неделя» продолжает публикации из серии «Политические портреты». Сегодня доктор исторических наук, профессор Дмитрий ШЕЛЕСТОВ рассказывает о Сергее Мироновиче Кирове, жизнь которого трагически оборвалась 55 лет назад, в декабре 1934 года.

Перед нашей беседой я заглянул в Советский энциклопедический словарь и, представьте, обнаружил, что фамилию Кирова носят семнадцать городов и поселков в различных районах нашей страны. Ровно столько же, сколько отмечено в этом словаре населенных пунктов, переименованных в честь Ленина.

— Если бы вы заглянули в крупноформатный Атлас мира, изданный в 1982 году в Москве, то назвали бы более значительную цифру — свыше тридцати городов и поселков, в том числе восемь из них с одинаковым наименованием Кировский, по семь имеют названия Кировск и Кировское, четыре — Кирово и так далее. Есть на нашей карте и залив Кирова (на Каспии), острова его имени (в Карском море), заповедник, водохранилище, кроме того, это имя присвоено десяткам различных предприятий и организаций. Только в Ленинграде их едва ли не полдюжины, включая даже театр оперы и балета.

— *Но давайте начнем наш разговор с основных моментов политической биографии этого человека. Как он начинал революционную деятельность? Был ли знаком с Лениным? Чем объяснить столь стремительный рост его как политического лидера: март, 1921 год — X съезд партии — кандидат в члены ЦК РКП(б), с 1926 года — кандидат в члены Политбюро ЦК, с 1930 года — член Политбюро, с 1934 года также и секретарь ЦК?*